

Т.П. Буслакова

«Один день Ивана Денисовича» (1959)

Произведение было задумано в 1950–1951 годах, когда автор работал каменщиком в Экибастузском Особом лагере. Написан за три недели в 1959. Первоначальный заголовок («Щ-854. Один день одного зэка») изменен в 1961. Решение о публикации принято на заседании Политбюро ЦК КПСС в октябре 1962 под давлением Хрущева. После того как рассказ был напечатан в журнале, возглавляемом Твардовским, он выходил еще два раза в СССР (полная редакция — в парижском издании 1973).

Тематика произведения Солженицына была новаторской — впервые в советской литературе был изображен быт лагерной зоны. Замысел произведения — рассказ об одном дне в жизни героя — соответствовал жанровой природе новеллы. Однако предмет повествования был столь необычен для советского читателя, что потребовал особенно подробной разработки и расширения объема текста. Достоверность сюжетных событий подтверждена прототипической (образ Шухова впитал черты однополчанина автора во время войны и его товарищей в лагере в соединении с личным опытом писателя) и документальной (в обрисовке других героев нашли отражение подлинные биографии заключенных) основой изображения. Объемная картина создавалась с помощью множества портретных, бытовых, поведенческих, психологических деталей, воспроизведение которых требовало введения в текст новых пластов лексики (в конце рассказа был помещен словарь, включавший, помимо словечек лагерного жаргона, объяснение реалий жизни осужденных).

Сюжет рассказа представляет собой хроникально последовательное воспроизведение «ничем не омраченного, почти счастливого дня», а напряженность действия связана с тем, что все происходит в Особом лагере. Одна за другой у Щ-854 случается «много удач». Сначала ему удается избежать карцера, «кондея с выводом», ждавшего его за то, что не встал по сигналу подъема, хотя «никогда не просыпал», всегда использовал утреннее время «до развода», чтобы подработать: «шить», «услужить», «подмести или поднести что-нибудь». В этот день ему «все не хотелось, чтобы утро», так как он чувствовал себя больным. Но дежурящий «не в очередь» и поэтому неожиданно подошедший надзиратель уводит героя не в карцер, а в штабной барак — «пол мыть».

Повезло с «баландой» — попало в нее гущи «средне», не «доболтки». Хлебной пайки всего «грамм двадцать» не дотянуло до положенных пятисот пятидесяти. На линейке Цезарь дал ему докурить сигарету. Бригада не попала на работу в открытое поле. В обед удалось «закосить» вторую миску овсянки. На «шмоне» не отобрали кусок ножовки. Цезарь отдал ему в ужин свою «баланду» и пайку, да еще поделился посылкой. У латыша «табачку купил», а главное, «не заболел, перемогся». Даже воспоминания о дневной работе радуют — «стену... клал весело». В такие дни «ни на что Шухов не в обиде: ни что срок долгий, ничто день долгий», думая: «Переживем все, даст Бог, кончится!»

«Удачи» героя складываются из неожиданного везения («Еще один такой жим по второй рукавице — и он горел в карцер... И тут же он остро, возносчиво помолился про себя: “Господи! Спаси! Не дай мне карцера!”... И седоусый надзиратель, вместо того чтобы взяться за вторую рукавицу Шухова, махнул рукою — проходи, мол») и умения выжить в лагере («У нас нет, так мы всегда заработаем»). Такое умение вырабатывается в течение долгих лет (олицетворением человека, превращенного в «камень тесаный», является «старик высокий Ю-81», который «по лагерям да по тюрьмам сидит несчетно, сколько советская власть стоит...»). Главный герой провел в лагере восемь лет. За это

время даже «дума» стала у него «несвободная», а от жизненной мудрости осталась установка: «...кряхти, да гнись. А упрешься — переломишься».

Многое в образе Шухова напоминает героя романа Толстого «Война и мир» Платона Каратаева, воплощавшего авторское понимание народной мудрости. Реминисценция проясняет обобщенный смысл **конфликта** рассказа Солженицына. По видимости герои вовлечены прежде всего в конфликт политический — в их бедствиях виноват «батька усатый». Однако если «разобраться», никто из них (за редкими исключениями, как Павло — бендеровец, который: «Стрелял... из-под леса да на районы ночью налетывал», или «настоящий» «румынский шпион» молдаван) не был врагом советской власти. Напротив, это «бывшие начальники» («директор» Фетюков, «кавторанг» — капитан второго ранга Буйновский, «ходивший и вокруг Европы, и Великим Северным путем»), «москвичи» («образованные», «интеллигенция»), которые за баландой обсуждают эстетику Эйзенштейна, а в очереди за посылкой читают в «Вечерке» «интереснейшую рецензию на премьеру Завадского», баптисты, эстонцы, латыши и русские люди, испытавшие мытарства коллективизации, прошедшие войну. Все они представляют многоликий народ, говорящий на одном языке, живущий, сражающийся и страдающий вместе, независимо от национальности, взглядов и возраста (шестнадцатилетнему «теленку» Гопчику «срок дали как взрослому» за то, что «бендеровцам в лес молоко носил», Шухов «сорок лет землю топчет», Ю-81 состарился в лагере — «как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали»).

Как и у Толстого, глубинный смысл конфликта — столкновение с историей, в котором человек, ищущий свое, особое место в ней, всегда оказывается жертвой (так, самыми «важными» для кавторанга, хотя «он не знал этого», являются «минуты, превращавшие его из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрительного зэка»). «Малоподвижность», как средство «перемочь» тюрьму и лагерь, имеет прямое соответствие в толстовской концепции («Существует известный предел времени, ранее которого никакие усилия тепла не могут растопить снега» — «Война и мир», т. IV, ч. 2). Но при этом ожидание торжества справедливости (по словам бригадира Тюрина: «Все ж ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьешь») должно сочетаться, как и в романе Толстого, с «нравственной силой» (в истории важна «победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии» — «Война и мир», т. III, ч. 2).

На фоне нечеловеческого быта осужденных, каждодневных попыток превратить их в бессловесное стадо, тратящее все свои силы на подневольную тяжкую работу, сохранение жизни души («на Шухове-то все казенное, на, шупай — грудь да душа...») кажется почти невероятным. Герою не до «праздных воспоминаний», и все же он не может забыть ни родное Темгенёво, откуда ушел «двадцать третьего июня сорок первого года», ни домашних («дома дочки две взрослых» и жена, «они два раза в год напишут — жизни их не поймешь»). Вспоминается даже, «как в деревне раньше ели: картошку — целыми сковородами, кашу — чугунками, а еще раньше, по-без-колхозов, мясо — ломтями здоровыми». Шухову «и времени-то не бывает подумать: как сел? да как выйдешь?», но впечатления войны (медсанбат, плен, смерть товарищей) и восьми лагерных лет нанизываются одно на другое («...вспомнились ему семь лет его на севере», «цинга в Усть-Ижме в сорок третьем году, когда он доходил», «как он на бревнотаске три года укатывал тарный кряж да шпальник», «...чего-то новое в лагере началось. Двух стукачей известных прям на вагонке зарезали...», «чем в каторжном лагере хорошо — свободы здесь от пуза... кричи с верхних нар что хошь — стукачи того не доносят, оперы рукой махнули. Только некогда здесь много толковать...»), образуя неразрывную цепь крестного пути его жизни.

Годы испытаний сформировали особую систему нравственных ценностей. Он, как и все русские в лагере, «и какой рукой креститься, забыл». Но был уверен, что от мелочей («...не мог он себя допустить есть в шапке...», «...качать права... не смел...») до главного

(«В лагере вот кто поддыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать»; «...так устроен Шухов по-дурацкому, и никак его отучить не могут: всякую вещь и всякий труд жалеет он, чтоб зря не гинули») человек должен остаться человеком. Он готов и в Бога верить («Я ж не против Бога, понимаешь»), думая не только о «земном и брэнном». Но не ждет чудес свыше («...сколько ни молись, а сроку не скинут»), надеясь только на свои силы. Силы же эти поистине богатырские — **развязкой** сюжетных событий становится итог: «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три».

Повествование в рассказе ведется от имени автора, не только досконально знающего лагерную жизнь, но и являющегося как бы членом бригады, где работает герой [«Вот в 75-й бригаде хлопнули об пол связку валенок... А вот и в нашей (наша была сегодня очередь валенки сушить)»; «...руки автоматами заняты, чтобы по нас стрелять»], общей «семьи» осужденных («Она и есть семья, бригада»). Это позволяет ему, не являясь двойником Шухова, показать его восприятие происходящего изнутри, опираясь на свой опыт «лагерника». Граница между авторским описанием и внутренним монологом героя предстает размытой. Рассказчику понятна важность того, что баланда должна быть горячей («Одна радость в баланде бывает, что горяча, но Шухову досталась теперь совсем холодная»), что хлеб надо прятать в матрасе («Хорошо, что Шухов обоспел, зашил — из тумбочки вон в 75-й уперли — спрашивай теперь с Верховного Совета!»), что от «продуктовой посылки» каждый становится «вздурораженным, взъерошенным, будто пьяным», что в конце срока «проясняется... что домой таких не пускают, гонят в ссылку». Автор, укрупняя детали каторжного быта, выстраивает систему, приводя их в соответствие с обобщенной оценкой происшедшего в недавнем прошлом. Один день оказывается осколком зеркала, в котором так же ясно, как и в целом, видна бесчеловечная сущность называвшейся народной власти, противостоять которой способна только «нравственная сила», скрытая в душе русского человека.

Характер главного героя создается на основе необычного сочетания авторских описаний и вплетающихся в них внутренних монологов. В воспоминаниях восстанавливается его биография — жизнь в деревне «по-без-колхозов», затем коллективизация, война («...в феврале сорок второго года на Северо-Западном окружили их армию всю... И стрелять было нечем. И так их помалу немцы по лесам ловили и брали. И вот в группе такой одной Шухов в плену побыл пару дней... и убежали они впятером... чудом к своим попали... и за решетку») и дело об «измене Родине» («...расчет был у Шухова простой: не подпишешь — бушлат деревянный, подпишешь — хоть поживешь еще малость»). Сначала был в лагере на севере, через семь лет попал в Усть-Ижму в «каторжный». Письма от семьи получал два раза в год, а от посылок отказался, чтобы от себя «не отрывали». Восемь лет срока подходили к концу, но теперь и «сам он не знал, хотел он воли или нет», потому что там «прямую дорогу людям загородили», а «в обход» герой, стремящийся жить «по душе», так и «не научился» («...сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого...»).

Среди героев рассказа есть те, кто пострадал еще в 30-е годы («сын кулака» Тюрин, «в тридцать восьмом на Котласской пересылке» встретивший комвзвода, уволившего его из армии с «лютой справочкой»), те, кто во время войны был настоящим героем («Сенька Клевшин — он тихий, бедолага. Ухо у него лопнуло одно, еще в сорок первом. Потом в плен попал, бежал три раза, излавливали, сунули в Бухенвальд», где «в подпольной организации был, оружие в зону носил для восстания»), чувствующие себя мучениками за веру баптисты («Не врет Алешка, и по его голосу, и по глазам его видать, что радый он в тюрьме сидеть»).

Шухов, как и Платон Каратаев в романе «Война и мир», кажется всем окружающим «самым обыкновенным» человеком («Война и мир, т. IV, ч. 1, гл. XIII), номером Щ-854, научившимся сливаться с «массой», «колонной», «бригадой», толпой «заключенных...»

одетых во всю свою рвань», чтобы не попадаться на глаза «никакому надзирателю». С толстовским героем его объединяют крестьянское происхождение, солдатское прошлое, а также многие качества характера: простодушие, способность принориться к обстоятельствам, «приработать», переносить испытания, не озлобляясь (без «злой накипи» на сердце), сохраняя сочувственное отношение к человеку (ср.: Каратаев «любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком» — т. IV, ч. 1, гл. XIII).

Для Шухова и Каратаева источником уравновешенности становится народная вековая мудрость — то, что «старики говорили». Не случайно в тексте рассказа встречаются пословицы и поговорки, продолжающие тематику высказываний толстовского героя, для которого использование этого фольклорного жанра является постоянной характеристикой («Где суд, там и неправда», «От сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся» — т. IV, ч. 1, гл. XII; у Солженицына — «за что не доплатишь, того не доносишь», «запасливый лучше богатого», «кряхти, да гнись. А упреешься — переломишься» и др.). Подобно Каратаеву, Шухов является социально-историческим типом. Герой рассказа воспринимается не только как реалистически обрисованный персонаж с индивидуальной судьбой, но и как «вечное олицетворение духа простоты и правды» («Война и мир», т. IV, ч. 1, гл. XIII), составляющего основу народного характера. Как и у героя Толстого, «отдельная жизнь», в представлении Шухова, должна вливаться в «единый голос» общего существования («Кто арестанту главный враг? Другой арестант. Если б эки друг с другом не сучились, не имело б над ними власти начальство»).

«Один день Ивана Денисовича», вместивший так много событий, опасностей, страданий, труда, размышлений, воспоминаний, получает особое, вневременное значение (да и само время в лагере «ни на что не похожее» — «...дни... катятся — не оглянешься. А срок сам ну ничуть не идет, не убавляется его вовсе»). Итог повествования вносит в подчеркнута объективный тон автора драматичную ноту: срок Шухова оказался длиннее десяти лет на целых три таких дня («Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...»). Заключительная фраза контрастирует с тем настроением, в котором «засыпал Шухов» («вполне удовлетворенный», «много удач», «бригадир хорошо закрыл процентовку», «стену... клал весело», «день, ничем не омраченный, почти счастливый»). В противоположность стремлению героя примирить в своей душе противоречия, принять все как есть (в его представлении, есть своя правда и у следователя, который «не мог придумать», какое «задание немецкой разведки» выполнял Шухов, и у «надзирателей», «потому что недосчитаешь — беда, и пересчитаешь — беда...»); что же касается выхода на свободу — «где ему будет житуха лучше — тут ли, там — неведомо»), прямое выражение авторской позиции выявляет идейную доминанту рассказа: разоблачение политической системы, повинной в «лишних» трагических днях в судьбе русского народа.